



Виктор Калинов

Фото: Михаил Шевелев

I

Этот колодец мало походил на другие, темневшие ржавым металлом либо черневшие пустотой. В нем происходили странные вещи. Бурая маслянистая жидкость поднималась до самых краев, обволакивая безголовых голубей, почерневшие палки и разнообразные непонятные предметы. Иногда она меняла цвет, расплываясь радужными с сиреневым отливом пятнами, иногда опускалась, а иногда покидала пределы и оседала в траве, бахромой у подножий труб и деревьев, или плыла вдаль, уносимая бурным потоком.

Колодец жил своей особой жизнью, казалось, не подчинявшейся никаким законам. Можно было только догадываться о его глубинных внутренних связях и сообщениях, так же как и о природе и цели его существования. Однако, я думаю, он играл в некотором роде роль аванпоста на пути к запутанной и совершенно загадочной системе колодцев и подземных ходов, раскинувшей свою сеть в районе пустыря между железнодорожной линией и шоссе. К такому заключению я пришел пасмурным осенним днем, выловив в водах колодца гладкий и скользкий кошачий труп, принятый мной первоначально за резиновый мяч ввиду округлости форм.

О пустыре ходили недобрые слухи. После того, как в одном из колодцев с горячей водой были найдены мужчина и маль-

чик, привязанные к железной лестнице, ставшие массой вываренной материи, а месяцем позже все на том же пустыре была обнаружена девушка, обнаженная по пояс, висятая на собственном чулке, заботливо привязанном к самой высокой ветке самого высокого тополя, за местом окончательно закрепилась репутация пропащего.

Здесь протекала речка с поэтическим именем — Синара, возможно, имеющим некоторое отношение к Франции; в народе же ее звали просто «Говнотечкой», реке — Игуменкой, и всерьез не принимали. Синара, или Игуменка, видимым истоком имела туннель, уходящий под железнодорожную насыпь, впадала же она в другой туннель, под шоссе, и после этого окончательно уходила в недра земли.

Над пустырем возвышались гигантские змееподобные трубы, одним концом уходящие, как и речка, в землю, другим — в бесконечность. Летом земля покрывалась коноплей, полынью и лебедой, зимой — льдом и снегом.

Мы знали: куда бы судьба ни забросила нас, сколько бы ни прошло времени, тайна пустыря, оседающая в траве радужными пятнами, всегда пребудет с нами и составит немалую часть нашей жизни. Мы не противились этому и принимали как должное. Неизбежно наступает такой момент, ког-

да слишком многое решено, и все, что будет дальше — суть развитие этого решенного. Измеряя пустырями и колодцами действительность, можем ли мы отрицать свою к ним причастность?

Уловленные сетью более прочной, чем сеть бесконечных привязанностей, включенные в систему хуже государственной, мы знали страх и счастье, а боли не успевали почувствовать. Отношения в виде ситуаций диктовали свои законы — законы системы, все подчинялось им. Самообман, осознанный самообман был основанием всякой радости, подобно сну приговоренного к смерти, но в силу осознанности он не омрачал радость, как сон не омрачает ее в силу бессознательности.

Условия жизни не были предметом нашего выбора; не зная иного, мы искренне дорожили настоящим и не променяли бы его ни на что. Система, поглощая одних, легко касаясь других, каждому дарилась свое; неизбежно, однако, каждый утрачивал самое главное. Последовательность и постепенность становления, время скрывали самый процесс утраты.

Можно ли отождествлять систему с судьбой? Едва ли, если понимать судьбу как человеческую жизнь — от рождения до смерти, но, безусловно, система, играя роль жизненного закона, становилась для нас в конечном итоге тем же, чем были слепые прядильщицы для древних. Каждому действию соответствовала определенная реакция; предсказать ее качество и последствия не представляло никакой трудности, ибо система на то и система, чтобы не знать сбоев. А мы-то ее знали прекрасно.

И, конечно же, на деле все обстояло совершенно иначе: абсолютное незнание с нашей стороны и абсолютная непредсказуемость со стороны системы.

Сиреневые вечера, треск насекомых и сырость колодцев... Белокурые бестии в обнимку с красавицами, каких мало... Мопеды и мотоциклы, разрезающие пространство... А еще множество дураков, редкостная коллекция, которая сделала бы честь Шарантону или Канатчиковой Даче. В третьем подъезде с левой стороны нашего дома — закрытая дверь: квартира, в которой, по слухам, обитал съехавший В-я с сестрой. Сестры В-и никто никогда не видел, и если бы не потребность в рациональном объяснении, столь успокоительном, относительно поддержания жизни сумасшедшего, то можно было бы предположить, что ее нет совсем.

Что же касается В-и, или того «нечто», что подразумевалось под ним, то он, или оно, несомненно, существовало, о чем свидетельствовало громкое непрекращающееся мычание за дверью. Трудно представить, что эти звуки мог издавать человек. В подъезде пахло зверинцем, жильцы спешили поскорее миновать В-у дверь, и в то время, как они проходили мимо нее, благодушное с придурью мычание переходило в рычание, злое и безнадежное. Неоднократно мы проводили эксперимент с целью обнаружить В-ю или его сестру. Формы эксперимента варьировались; иногда это была падаля (чаще кошка), заброшенная в форточку, иногда кирпич, многократно бросаемый в дверь, или продолжительный звонок, но

единственной и неизменной реакцией на все это было усиление рычания с переходом в иступленный визг.

Кто-то предположил, что в комнате живет обезьяна, горилла или орангутанг. Однажды летней ночью мы приставили к окну лестницу, и один из нас, с электрическим фонариком, полез вверх, дабы узреть В-ю. В квартире было темно, тихо (мы почему-то ждали, что он (оно) мычит круглосуточно). Вскоре наш человек свалился на нас вместе с лестницей. После он рассказывал, что, посветив в комнату, увидел пол, измазанный дерьмом, стены в потеках; мебели не было никакой; посередине комнаты был люк, крышка его была сдвинута, а из отверстия поднималось что-то лохматое и темное... Конечно, никто ему не поверил, однако эксперимент сразу же был прекращен во всех формах. Для меня же было очевидно, что это колодец. Наутро окна комнаты были оклеены газетами, мычание стало тише и скоро прекратилось совсем.

В-я вместе со своей мифической сестрой был исключен из объектов нашего внимания; однако не это, во всяком случае, могло стать поводом для беспокойства или печали. Движение вперед есть падение. Все мы падаем в бездонный колодец, чем дальше — тем быстрее. Все, что позади, — то вверх, ибо закон притяжения (чего? к чему?) бесповоротно устремляет вниз наши хрупкие сущности, и нам не вернуться. Нам не остановиться, не увидеть, куда мы падаем, мимо чего пролетаем.

Законы, придуманные людьми, тысячи условностей ничего не стоят, имеют значение успокоительной пилюли в мирное и безопасное время. В такое-то время можно обойтись и без них, и это умнее: не было бы соблазна преступить, нарушить — возродились бы, может быть, человечность и совесть. Неизмерима сила инерции. Неостановимо падение. Несостоятельность же любых законов и правовых установлений превосходно демонстрируют времена общественных переворотов и катастроф, времена экстремальных напряжений, обнажающих человеческую сущность. И тогда становится ясно, что единственный закон — это сам человек.

Система отношений на пустыре целиком и полностью была рассчитана на безопасное время. Не обремененные посещением служителей закона, наши места имели свой закон жизни, свою, неизвестно кем установленную, иерархию и шкалу ценностей. Поступая в соответствии с пустырным законом и занимаемым в иерархии местом, учитывая также сложившуюся обстановку, каждый, без исключения, обладал замечательной возможностью не всегда безмятежного, но, безусловно, надежного существования, а также — продолжения рода, по мере своих психофизиологических способностей. Судьба преступивших закон наших мест, нарушивших иерархию и тем самым создавших экстремальную ситуацию, поставивших себя вне закона, вышедших из системы, более чем плачевна, однозначна и неизменна. Совершенно неосновательны в таком случае обвинения, предъявляемые жизни, сетования на жестокость мира.

Что касается иерархии, то она в своем роде — совершенство, исключительной тонкости и продуманности структура,

хотя я далеко не уверен в ее рациональном происхождении и скорее склоняюсь признать ее феноменом природы. К удивлению и удовольствию (а возможно, и неудовольствию) многих, спешу сообщить, что иерархия наша (и в этом ее отличие от большинства других иерархий) представляет собой кольцо, замкнутый круг, колодец, а вовсе не пирамиду или лестницу, как того можно было бы ожидать. Невероятную целесообразность такого мироустройства возможно понять лишь через принадлежность к нему.

Вместо прямолинейного противопоставления «верх — низ» мы имеем бесконечно варьируемые «выше — ниже». И, таким образом, единственно по своему желанию, мы можем сказать, что мы выше того, кто выше нас, или ниже того, кто ниже, и при этом нисколько не погрешим против истины. Совершенному функционированию иерархии немало способствует ее колодезная, многоярусная структура.

Поясним вышесказанное несложным примером. Предположим, я нахожусь ниже существа А (агрессивного, с низким интеллектом) в общей системе иерархии, однако выше существа В (агрессивного, с высоким интеллектом) в этой же системе, но поскольку существо В стоит выше существа А, то я, находясь выше В, тоже стою выше, чем А, но поскольку я стою ниже А (агрессивного, с низким интеллектом), то В, находясь выше А, стоит надо мной, и в то же время я выше В... И так до бесконечности. Колодезно-кольцевая, или спиральная, структура нашей иерархии является многократно уменьшенной моделью пространственно-временного среза Вселенной. И, тем не менее, мы неудержимо валимся в отверстый перед нами мир.

КОММЕНТАРИЙ К НАПИСАННОМУ

«Этот колодец мало походил на другие...»

Так же, как и другие мало походили на этот, и каждый из них — друг на друга. Каждый норовил смотреть из глубины своей истории очами опыта.

Потрескавшаяся от времени и непогоды проржавевшая сухая печать, со стертыми, расплывшимися буквами. Или же глупый гнилой рот — мокрая пасть червя, без всякого смысла. Врата судьбы — одна из возможностей изменить свою жизнь через соприкосновение с чем-то реальным и одновременно безнадежно трансцендентным.

Совсем не обязательно было лезть в колодец, чтобы узнать, что в нем.

Хрустальные голоса адонисовых садиков, летящих в бездну, звучали в унисон с хриплым карканьем голубей, безголовых, безлапых, безголосых, с красными кроличьими глазами. Злыми глазами птиц, пропивших последнюю совесть.

Временами в колодце просыпалась вулканическая активность. Он пытался вздохнуть, чтобы забилось скрытое под землей сердце. Но тщетно. Подземные толчки, невидимые процессы достигали своего апогея: мазутная слизь изливалась, желудочный секрет выносил наружу непереваренные трупы животных, с крылышками и лапками, волосатые

брюшки насекомых. Всевозможный мусор, не поддающийся идентификации. Тошнотворная сладость переедания — в каждом выдохе, каждом вдохе, которые таковыми лишь представлялись в дурном сне небытия.

Как пауки, запутавшиеся в собственной паутине, все еще сильные и злые, — колодцы вперялись в небо и в преисподнюю единственным своим оком, разжимали и сжимали угрожающе железные веки-челюсти, желая поглотить этот мир в припадке ненависти и злобы.

«Колодец жил своей особой жизнью, казалось, не подчинявшейся никаким законам. Можно было только догадываться о его глубинных внутренних связях и сообщениях, так же как и о природе и цели его существования. Однако, я думаю, он играл в некотором роде роль аванпоста на пути к запутанной и совершенно загадочной системе колодцев и подземных ходов, раскинувшей свою сеть в районе пустыря между железнодорожной линией и шоссе. К такому заключению я пришел пасмурным осенним днем, выловив в водах колодца гладкий и скользкий кошачий труп, принятый мной первоначально за резиновый мяч ввиду округлости форм».

Природа этих явлений не изучена. Возможно, канализационная система переполнялась сбросами вод — железнодорожных вод в окружающую среду. Возможно, причины были совершенно иные. Остеклованный радиоактивный отход и окатыш — приметы сортировочной местности — густо удобряли картофельные поля, раскинувшиеся незаконным образом на полосе между железнодорожным полотном и меридианом.

В зарослях бурьяна и конопли в земле зияли провалы. Инфраструктура фекальных стоков и теплотрасс была лишь внешней и относительно молодой надстройкой. Более древний слой обнаруживали сводчатые проходы — каменная кладка, присыпанная сверху землей.



Посреди огородов Бриллиантовой улицы (Дора Бриллиант имела к ней весьма слабое отношение, несмотря на традицию называть места именами революционеров) старинная архитектура внезапно выходила на поверхность. Стертая до основания каменная стена пересекала поросший высоким сорняком пустырь. В одном месте она возвышалась метра на два, подобно древней крепости, обнажая неровную кладку нетесаного гранита. Она и сейчас там, эта старая крепость.

Сегодня, когда реставраторы тепловых сетей откопали в центре города подземные ходы, усеянные человеческими костями, крепостная стена не кажется уже чем-то неуместным в пространстве городских ландшафтов. Открытым остается вопрос: зачем? Но это вопрос не столько истории, которая никогда не дает ответов, выходящих за рамки плоской повседневности, сколько метафизики, которая трансформирует «зачем?» в «почему?». Но все равно не дает ответа.

Впрочем, иногда я вспоминаю, как это было. Мы путешествовали, где жили, а жили мы в Праге. Мы шли по пражскому подземелью, попав туда через комнатный люк (В-а квартира, мычание злое и безнадежное). Ступенек было так много, что путь казался бесконечным. Мы шли, и шли, и шли. Все время вниз и немного в сторону. В моей руке тускло мерцала свеча. Огонь дрожал, и смутно мечталось о фонаре. Стены и потолок были густо покрыты наскальными письменами. Особенно часто встречались два знака: круг и в нем минус и круг с вписанной в него буквой тау. Маленькие черные поры в стенах разрастались в зияющие провалы, оттуда тянуло гнилью и сыростью.

Мы шли, не сворачивая; движение наше было целенаправленным. Правда, уже не помню, зачем мы шли. Уперлись, наконец, в дверь, обитую проржавевшим железом. Она легко подалась вперед, и мы вошли внутрь пустого и полутемного помещения. В тусклом свете серого утра мы сидели за пустым дощатым столом на уродливо срубленном некрашеном табурете. Мы читали какую-то книгу. Из окна, завешенного дырявым тряпьем, сочилось мутное подобие света. Толстый слой пыли покрывал пол, массивный подоконник, немногочисленные предметы бытовой утвари. На страницах моей книги лежала пыль, так что букв нельзя было разобрать. Серой от пыли была кожа лица и рук. Волосы в паутине: изо всех углов, из каждой щели тянулись толстые серые нити, сходясь в черепном фокусе. Ползали, копошились пауки, скорпионы, нежные мокрицы, путаясь в волосах. Из носовых отверстий время от времени появлялись ножки фаланг и снова прятались. Все вокруг шевелилось, но было лишено смысла. Так трупные черви снуют, имитируя жизнь в оставленном жизнью теле.

Мы смотрели во все глаза, не отрываясь. Время застыло, повиснув в воздухе прозрачным студнем. Наш пристальный взгляд, казалось, что-то пробуждал в сидящем. Буйство насекомых усилилось. В ноздрях ножки фаланг замелькали чаще. Медленные скорпионы вязко, один за другим, стали падать в пыль книги, помахивая хвостами. Они исчезали, как будто растворялись в ее страницах. Тревожа паутину, незнакомец механически повернул голову в нашу сторону. Его взгляд

пробирали до костей. Пустые светящиеся глаза. Они пытались что-то понять, но могли только жечь и сверлить при полном отсутствии мысли. Могли смотреть, но не могли увидеть. Вдруг обвалилась и рассыпалась в прах стена, отделявшая нас от городских улиц. Он поднялся из-за стола и шагнул в серое пражское утро.

Мы шли за ним пустыми кварталами. Все здесь было знакомо, все узнаваемо. Плотно закрытые ставни, задернутые шторы: еврейские поселения встречали нас враждебным молчанием. Призрачное шествие во исполнение старинного ритуала. Вечное странствие в поисках невозможного покоя. В сером, никогда не знавшем солнца небе медленно ползла тень отказавшего Иисусу.

II

«О пустыре ходили недобрые слухи...»

Усеянный камнем, пустырь был марсиански-бурого цвета и почему-то казался выпуклым, приобретая планетарный масштаб и горбатую форму. Под каждым камнем жили резвые твари, готовые к самым отчаянным поступкам. Черные гладкие жучки были приятной находкой. Нежно щекоча кожу, перебирая упругими лапками, убегали они по своим делам. Менее приятной была встреча с двухвосткой, сороконожкой или серым пауком, стремительно несущимся, не разбирая дороги. К счастью, иногда он останавливался, замирал — тогда я определял, в какую сторону мне отпрыгнуть.

Именно здесь мы выходили на связь с космическим разумом. Начертав знаки мужского достоинства (стрелочкой вверх), мы облачались в костюмы из алюминиевой сетки и подходили к камням в ожидании звездных сигналов. Интимное дело общения с Космосом не допускало ни суеты, ни расширения круга посвященных. Мужской анклав уединенно перемещался в пространстве, позванивая дырявой кольчужой, ловя на себе пристальный взгляд маньяка, возбужденного детской затеей.

Но вскоре диалог с Космосом иссяк. Таинственные сигналы больше не возбуждали воображение. Брожение вокруг каменных герм потеряло смысл и было оставлено — до того момента, когда я встретился с кубическим Камнем и с женщиной, любившей сидеть на нем.

Густо заросший травой по краям и лысый посередине, пустырь был просто великолепен в лучах заходящего солнца. Он напоминал череп. Но он был пуст. В этом, наверное, и был его главный недостаток. Островок дикой природы заставлял каждого из нас остро почувствовать свое одиночество в этом мире. Кладбище каменной, серых плит, где стремительно носятся пауки, бессмысленно рассекая застоявшийся воздух. Хотелось лечь на землю и обнять это мертвое несчастное тело — каменное подобие жизни.

Подобно ровным кругам, оставленным в поле тарелкой, наши места имели прямоугольный вырост. Точки пересечения. Идея, желание жизни выступить в этой форме успешно материализовались через мужскую активность. Не кабак и не театр, не лавочка у подъезда — просто дощатый стол с сидя-

щими за ним игроками. Это был ритуал. Стук костей о поверхность, поиски комбинаций — в этом не было смысла, но была неизбежность. Это была готовность сложить однажды рисунок, который откроет двери в шумящую неизвестность. И стол провалится вместе с козлятниками под землю, а на поверхность выйдет — выйдет, наверное, в Праге. В каждом из таких мест, где алеф скручивал время, мы застывали в страхе. Но люди оберегали порученное им дело — и гнали, плескали пивом, кидали окурки, плевались. Когда же вставал Смотрящий, мы без ума бежали, оставив столбнячный ужас. И мчались скорее к дому, в кусты, к родному подъезду. Благо, Смотрящий не видел дальше своей площадки. И снова стучали кости, как будто звали кого-то.

Однажды пустырь посетили опытные пришельцы. Они достали приборы, бурильные установки, уровни и отвесы. И началась работа. Никто из нас не сомневался: на пустыре затевалось строительство перевалочного межгалактического пункта. Не меньше. После того, как пришельцы выполнили расчеты, на смену пришли машины. Они вырыли котлован. Наполнили его водою. А мы кидались камнями: кто-то кидал с горы, обороняя вершины, а кто-то вползал на гору, бросая камни в стоящих. Сверху всегда веселей кидать в кого-нибудь камни. Нашему другу в лоб угодил гранитный осколок. Он шел, истекая кровью. Мы же скорбно смотрели — как Пушкин смотрел на Хармса.

На пустыре вырос дом, съевший мои качели. Я до последнего не терял надежды, что котлован превратится в громадный колодец с высокой бетонной стенкой. Но кто же работает нынче так откровенно грубо? Где-то есть грань привычки, переходить которую просто небезопасно. В подвалах этого дома стоит вода по колено — вот уже много лет замерзая зимою и зацветая летом. Не знает никто, что же там происходит, в этих глубинах... Люди живут в симбиозе, в своей бетонной надстройке, а корни тянутся к небу.

«... в одном из колодцев с горячей водой были найдены мужчина и мальчик, привязанные к железной лестнице, ставшие массой вываренной материи...»

Все было просто. Из-за денег. Встретили мужика с сыном, привязались. Мужик попался упрямый. Сынишка кричал: «Не надо». Треснули по голове. Мужика пырнули ножом. Денег не нашли, бросили в колодец. Для пущей верности прикрутили проволокой. Разошлись по домам. Розовые зайчики на стенах, мохнатые ушки, пеленки, плач наследника.

Он все время стонал. Мальчик лежал на земляном полу тихо. Одежда была мокрой от крови. На землю спустилась тьма. Какая-то странная тревога, обдающий холодом страх. Трясти сына за плечи, щупать пульс. На голове ранка, кровь запеклась, дышит, но в себя не приходит. Тревожно, хочется убежать. Попытался встать — слабость, кровь пошла сильнее. Звонящая, напряженная тишина; как струна натянуты нервы; в голове — ясно. Отчетливо различимы в темноте каждый выступ, каждый оттенок. Где-то мяукает кошка.

Что-то клубится в воздухе — пар? мошкара? Дым без запаха гари. Что-то сплетается и расплетается, скручиваясь в спи-

рали, выбрасывает щупальца у самого носа. Разноцветные искорки пробегают по воздуху от стены к стене, вылетают наружу. Вот бы и им так. Дно колодца становится вязким и теплым, как будто просачивается влага...

«... месяцем позже все на том же пустыре была обнаружена девушка, обнаженная по пояс, висят на собственном чулке, заботливо привязанном к самой высокой ветке самого высокого тополя...»

Следует уточнить некоторые детали. Допускаю, что автор преследовал свои, не известные нам, цели, помещая тополь на пустыре. Но деревья на пустыре не росли. Жалкие кусты, бурьян, камни — вот ландшафты тех мест. Пустырь был пуст — тополь же рос за шоссе. И не один, а сразу несколько тополей, шелестя листом, группировались они двойками и тройками. Их было не так уж много. Без труда узнавалось дерево злодеяния: засохшее от корня до кроны, уродливой растопырой возвышалось оно на фоне змееподобных труб. Ветка, на которой была повешена девушка, также была не «самой высокой». Самая высокая, тонкая ветвь не смогла бы попросту выдержать вес тела и обломилась. Ветвь злодеяния была основательно толстой ветвью, располагавшейся на уровне второй трети тополиной высоты.

В остальном же описание соответствует фактам, хотя настораживает одна деталь. Заботливо привязанный чулок. Кто же его «заботливо» привязал? О чем вообще идет речь? Имеем ли мы дело с убийством, с признаком насильственной смерти, изнасилованием? Или же это самоубийство невротички, с эксгибиционистским синдромом? Суицидальная версия имеет под собой серьезные основания. В конце концов, девушка и сама могла «заботливо» привязать чулок, тем более что заботливость, аккуратность более свойственны женщинам. Почему же чулок? Потому что ничего более удобного не нашлось под рукой, а потрясение, видимо, было почти внезапным. Девушку, например, могли изнасиловать, и она повесилась на чулке. Тогда мы не вправе говорить об эксгибиционизме — ведь верхнюю одежду она могла потерять в пылу борьбы. В пользу самоубийства говорит и то, что все произошло на большой высоте: трудно представить себе насильника и убийцу, волокущего свою жертву — отбивающуюся, визжащую, или же просто остывающее ее тело — на дерево и там «заботливо» привязывающего чулок. Но обнаженная грудь... Эта деталь придает всей истории какой-то горько-эротический оттенок. Как случай с хулиганами, забравшимися в открытое окно, когда на постели молодые страстно занимались любовью. Серое лицо с выпученными глазами смотрит из зеленеющих ветвей, и где-то рядом безразлично кукует кукушка.

«Здесь протекала речка с поэтическим именем — Синара, возможно, имеющим некоторое отношение к Франции; в народе же ее звали просто «Говнотечкой»...»

Колодец — мазутное вместилище — был связан с черной рекой, замурованной в землю. Гнилая кровь города-вырожденца вяло текла в подземных артериях. Гигантский нарост дышал и хлопал бесчисленными своими порами. Нет ничего

более ядовитого, чем кровь города. Нет ничего зловонней. Лишенный разума, город наделен волей — волей пожираться. Никогда не насыщаясь. Муки Тантала.

Мы проходили берегами тех рек. Тихо струились мертвые воды. Дуремар своим гигантским сачком ковырял илистое серое дно. Искал червей. Берега — слежавшиеся трупные черви. Трубочники промывались, клались в банку и убирались в холодильник. Потом их несли на рынок, чтобы продать. Трубочник был в цене. Мотыль, дафния. Дуремар был удачливым ловцом. Однажды ему попался бразильский червь. Он залез Дуремару под кожу. В муках Дуремар искал червя. В каждом доме, на каждом углу мерещился ему червь. Шевелились стены домов, под ногами волновалась земля. Из недр восставала головка, все рушилось, и горела оскорбленная плоть. Отроки покупали червей, ставили в вазы, делали икебану, стелили на пол и вешали на косяк. На столах — крошечные мензурки с аппетитно поющими червячками. Дуремара тошнило. Он достал банку из холодильника и выбросил ее в окно.

«Над пустырем возвышались гигантские змееподобные трубы, одним концом уходящие, как и речка, в землю, другим — в бесконечность...»

Черви копошились в земле. Червей водрузили и сверху. Назвали их «теплотрассы». Прикладной смысл трубных тел терялся, хоть и грели они людей и землю. Точней: согревали воздух. Клубился пар, неусыпным червем извиваясь. Символ? Предупреждение? Знак. Культурные люди строят предметы культа, суетятся в суеверном страхе. Они говорят о быте: горячей воде в ванной, о бойлерах, батареях. Всегда найдет оправданье pinaющий черную кошку. Червем червя попирая.

Сбоку пристроили к трубам лесенку. Она уходила вверх и заползала трубе под брюхо, выстилаясь треснувшим бетоном. Там любили сидеть голубятники, зимой согреваясь, покуривая коноплю летом. Вереницы коричнево-красных железных и деревянных товарных вагонов с характерным



рельсовым скрипом маневрировали от Сортировочной на Синару. В деревянных везли арбузы. Побросав коноплю, срывались герои мазутных дебрей, чтобы залезть в окна. Под самой крышей вагона узкий прямоугольник — оттуда кидал арбузы самый отчаянный. Остальные внизу бежали, их на лету ловили, в траву и кусты катили, пока дубак не заметит. В зеленой шапке и форме, из молодой дубравы он появлялся с собакой. Она отчаянно выла, в тоске на фуражку глядя. Арбузы били и ели, а что-то и продавали — по демпинговым расценкам несведущим горожанам. Привыкший к ножу и вилке, я был изрядно расстроен, когда мой друг пятерню в сердце арбуза — немой — прынул, вытащив мякоть. И ел, обливаясь соком...

Черви, уходящие вдаль, небесные черви. Между перилами труб по узенькому асфальту проходил одинокий путник. Тела пятнистых питонов безнадежно его теснили, бесконечно тянулись трубы, а головы продолжали жить.

«Неизбежно наступает такой момент, когда слишком много решено, и все, что будет дальше, — суть развитие этого решенного...»

Такой момент неизбежен — в судьбе человека, животного или предмета. Нельзя знать заранее, когда он наступит. Трудно угадать Рубикон, даже перейдя реку. Только чувствуешь, что есть пограничная точка, после которой что-то становится уже невозможным. Очень важное что-то. Надо видеть жизнь от рождения до смерти, видеть в контексте причудливого переплетения судеб, чтобы понять, где была эта точка. Не дано — ни человеку, ни животному, не предмету. Не дано это знать, можно только гадать на знаках.

«Уловленные сетью более прочной, чем сеть бесконечных привязанностей, включенные в систему хуже государственной, мы знали страх и счастье, а боли не успевали почувствовать. Отношения в виде ситуаций диктовали свои законы — законы системы — все подчинялось им.»

Эти законы я познавал телом. Но больше — внутренним чувством, скользящим между тревогой и страхом. Постоянное ожидание, что вот придут и наступит. Приходили и наступало. Но не всегда, не во всяком месте. Меня удивляло одно: почему не всегда, не все разом? Потому что была система.

Порождение переплетений, связей этого мира, возникнув из отношений, функция организма — система вдруг подчинила организм своему порядку, навязала свои законы.

Люди любили, страдали, ссорились, целовались, продавали и покупали — делали как умели, как было им удобно, и формы затвердевали, принимая характер традиций. Система — их выражение.

Одинокий, трясая рогами, олень гулял под забором. Система мигала красным, подавая оленю знаки. Олень — олень, одно слово. Знаков не понимая, он шел и нюхал цветочки. А следом бежали волки.

За порогом дома начинался кошмар, который не прекращался и в помещении. Мой дом — моя крепость. Какая крепость? Система была тотальной. И каждый ее фрагмент — олени, глухари, волки — был одинаково нужен, одинаково

предусмотрен. Был нужен олень-познающий — кто может понять себя как оленя и место свое в системе.

В белом больничном халате я шел по открытому месту в лучах закатного солнца. Сосны шумели в небе, касаясь высоких окон. В руках у меня — лекарства, большой и тяжелый ящик. Под тяжестью я сгибался, халат развевался нагло. И вдруг я услышал звуки, знакомое «э-э»: я пойман. Свободно кружат, ликуя, бабочки и стрекозы. Возле помойной ямы бродят грязные свиньи. Подслеповатые глазки радостно в яму смотрят. Не каждому впрок лекарства...

«Самообман, осознанный самообман был основанием всякой радости, подобно сну приговоренного к смерти, но в силу осознанности он не омрачал радость, как сон не омрачает ее в силу бессознательности».

Самообман был естественным способом выживания в системе оленя-познающего. Сохраняя целостность тела, остаться чуть-чуть человеком, чуть-чуть остаться оленем, чуть-чуть остаться рогами. Не хочешь врать — не живи. И, значит, не радуйся жизни.

Радость... В предвечернее зыбкое время как будто в осколок вечности весь проникаешь и видишь: иллюзия непомерна. Поезда, железные рельсы, снег запачканный, ноздреватый, индустриальные газы. Вдыхаешь с радостным свистом. На горизонте — ни облачка. Стоишь на рельсовом поле в закатном розовом свете, среди оранжевых телогреек. И машут они молотами, свои костыли забывая. Легко на душе, беззаботно. И время — как бы безвременно, как бы нарушилась связь времен, смешалось все, и в воздухе что-то еще присутствует, призрачное, и ты — призрачный... Ощущенье такое, что нет тебя — нет тебя, и не надо.

Пейзаж начинает меняться: на переезде поезд накатывает громадой. И викинги, покидая движущийся корабль, к тебе устремляют копья. С каждой подножки скачут, бегут толпою нестройной. В воздухе клич победный. Лучше хвост волочить по грязи...

«... не зная иного, мы искренне дорожили настоящим и не променяли бы его ни на что...»

А если б и знали. Моя любовь жила рядом со мной, часто меняя облик, причиняя море страданий. И море радости тоже. В сладком оцепененье бродить под ее балконом, ковыряя грязную землю. Дышать возбужденной пылью в ее широком подъезде. Прозрачной весной квадраты мелом черта на асфальте. И знать, что она недоступна. «Система, поглощая одних, легко касаясь других, каждому дарила свое; неизбежно, однако, каждый утрачивал самое главное».

Маски приросли к лицам. Опухший и заспанный мастер нависает угрюмо, тупо смотрит в мое изделие. Совок железный, лопата. Опять неправильный тангенс. В такие совки оправлялись с друзьями в пришкольном сарае. Залезли в сарай закрытый, выбив гнилые окна. Совками он весь заставлен: плоды трудов подневольных. То-то раздолье, радость! Нашли совкам примененье. Сходил в совок и совком накрыл же. И тангенс тут не помеха. А он недовольно смотрит, в руках изделие вертит. «Cogito ergo sum» — светится в его взгляде.

«Можно ли отождествлять систему с судьбой?»

Или судьбу с системой? «Дорога никуда» — в картине англичанина Грин нашел ответ на свои вопросы. Не рождается, не возникает из ничего — вечно присутствует как архетип, как атрибут жизни. Дорога, по которой не ходят. На которую смотрят. Брось костыли — мы у цели! Ворота откроются ночью, но мы скребемся так тихо, что Петр нас не услышит. Система стала судьбою.

«Сиреневые вечера, треск насекомых и сырость колодецев...»

Сиреневый цвет — скорее летний, чем зимний, — цвет воздуха и цвет времени из мира воспоминаний, из мира одиноких прогулок. Мимо мраморных памятников, мимо гробов, тележек, сломанных механизмов я проходил в молчании, тихо сливаясь с природой. Собаки за мной бежали: сторожевую вахту с ними несли мы вместе, покой гробов охраняя. Доски кругом лежали, запах распространяя. Лежа на мраморной крошке, я изучал Платона, глядя в дымное небо. В небо, где фейерверки больше не расцветали. Раньше толпой бежали и, у дороги стоя, в небо с надеждой глядя, ждали вечных салютов. Мимо неслись машины, а небо хранило молчанье. Только треск фейерверков где-то вдали, вслепую. Краина ойкумены...

Сидя в песчаном замке, я познавал вечность. Треск насекомых снова симфонией лился в душу. Он застревал в горле, из глаз выпадали слезы — в песок они уходили. По длинной узкоколейке в край голубых просторов на невесомой дрезине ехал я потихоньку. Вместе с Иваном ехал. Дрезина остановилась. Заросший травой колодец тихо дремал вполглаза. Подкрадывались тихонько: покой часовых не нарушить, серых обитателей бездны. Таракано-кузнечики молкли, в плен наших рук попадая; в мягком и беззащитном теплилась искра жизни, и раздавить это тельце пальцами так тянуло. Мы собирали в коробку страшеньких насекомых, несли их в наши квартиры. Но больше они не пели. По углам распозавясь, в щелях они застревали. И там они засыхали в горьком недоуменье: зачем изменился мир и в чем они виноваты?

«Белокурые бестии в обнимку с красавицами, каких мало...»

Бестии — белокурые, монголоиды — шныряли тут и там. С проворством хозяев жизни обнимали красавиц. Природные ницшеанцы держались корпоративно. Разнообразие видов, причудливый бестиарий. Толстой губой вращая, подслеповатый беркут высохшими глазами в лицо копченой селедке уставлялся молчаливо. Была бы рыба ослицей, она бы заговорила. А рядом рабочей пчелкой сволочь вокруг да около вьется, подвижная на подхвате.

Самцовый Квазимодо ждал свою Эсмеральду. И она появлялась. Счастливо блестя глазами, красавица отдавалась солидному человеку. Они плодили детишек — и выродков, и красавиц — гибриды не проходили. История продолжалась.

Оказавшийся за пределами корпорации организм, не будучи даже организмом оленя, оказывался перед сложной дилеммой: либо бунт, бессмысленный и безнадежный, либо прими-

ренье с судьбой, что означало сочетание со свободной. Девиз возможно свободных, возможно тихих и добрых, неярких и неказистых было довольно много — и тоже вне корпораций. В сфере распределенья гнилой и дряблой моркови в своих овощных подвалах мирно они стояли. Ждали прекрасного принца, который решал шараду. И принц иногда являлся, потупив карие очи и шумно нос раздувая.

«В третьем подъезде с левой стороны нашего дома — закрытая дверь...»

Неуместная детализация, но в целом описание правдоподобно. В каком-то священном трепете, стоя под окнами, ловили мы звуки пробуждающегося к жизни сознания. Оно очень старалось, но не могло проснуться. Детская наивность, беспомощность слышались в этих звуках. Как, впрочем, и первобытная ярость, готовая всех растерзать, не сходя с места.

В подъезде было еще хуже. Пахло зверинцем, но больше — разложением. Сначала я полагал, что это запах мочи: животные, мои друзья или пьяницы легко могли помочиться на лестницу, зимою — на батарею, во всякое время года — в почтовые ящики и электрические щитки. Но дело обстояло иначе.

Маленькая, юркая старушонка согнутым подосиновиком возвышалась на скамье, окидывая взглядом природу. Она сторожила вход в отвратительно пахнущий подъезд, создавая защитное поле, преодолеть которое было непросто. Однако В-а дверь, а также сестра были, похоже, ей безразличны, чего не скажешь о помещении с английским названием «бойлер». Эта дверь никого не оставляла равнодушным, тем более что и открывалась она крайне редко и лишь на короткое время.

Бойлер дышал паром, пугал размерами и количеством насекомых. Именно там, на этой чистенькой лестнице, в ухоженных помещениях подвала обитали самые крупные грязно-серые сверчки, гнездились караморы. Ложась на крыло, они отрывались от стен и мягко планировали в лицо, вцепляясь в его поверхность. Мелко подрагивая ногами, они скользили вдоль, внезапно бросаясь в рукав, залезая в штанину. Подвальный пол был изумительно чист: старушка каждый день подметала его, выбрасывая засохших насекомых в яркую зелень газона, подальше от любопытных глаз.

Из этих времен мне помнится яркий предмет: красный алюминиевый поднос овального вида, чайных дел принадлежность. Почерневший от времени и заварочных пятен, поднос начищался содой, которая становилась бурой и разъедала руки. Порохом мокрым горки соды смотрели вверх, неторопливо на кухне текла беседа — беседа старых людей. О том, как женщина в теплом цветном платке открыла клеенку, дощатый стол обнажая. Вся поверхность стола усеяна тараканом: яйцом, живым беглецом и тараканьим калом. Эту клеенку тогда она забрала с собою. И насекомых с собой она забрать попыталась. Но только не унесла она этот груз беспокойный: что-то упало в щель, просыпалось по дороге. Снова и снова она возвращалась на старое место: поговорить, посидеть, поискать насекомых глазом. Я же чистил поднос и, шпильку в руках вращая, задумчиво вставил ее в черную

дырку розетки, железо крутя сердито. Воздух вокруг поплыл, складываясь словами: если бы два конца, два конца было нужно... Искр короткий всплеск, усы торчат из розетки, коричневые усы бессовестно тараканьи, и строят, шурша, мне рожки. Я руку свою несу и в масло ее макаю, а масло скворчит на ней, как сало на сковородке.

Страшно было присесть — рядом с красным подносом, под нависающим кухонным шкафом я не чувствовал себя в безопасности. Среди солонки и заварочных чайников, перышек зеленого лука, набалдашников чеснока там и сям мелькали коричневые и черные жуки, быстро перебегающие от одного укрытия до другого. Ты не успеваешь опомниться, а по руке твоей, быстро перебирая лапками, мчалось уже проворное насекомое, норовя залезть под рубашку и там метаться по бессмысленным траекториям. И сам ты уже отскакивал в ужасе от подноса, суеверно трясая рукавами, в тщетной попытке избавиться от подрубашечной суеты.

Когда же ты забывался, сидя под кухонным шкафом, на голову тебе шлепался жирный прусак. Он застревал в волосах, и ты рукою пытался остановить козяву. Но тут же и застывал, внезапно вдруг понимая, что за скверная штука портит тебе прическу. Представить ее в руке было еще ужасней, и ты мотал головой, резко лоб наклоняя, пока не падал на стол лоб, от боли немея. И ты внезапно взлетал, по кухне носясь кругами.

Гораздо любезней, чем фауна, вела себя флора. Я проводил опыты в родительском ботаническом саду, тщательно фиксируя полученный результат. Объектами опытов были кактусы и собственный зуб, который подвергался воздействию соды и лимонной кислоты. Химикаты закладывались в дупло, и оно начинало шипеть, реагируя раздражением. Занятно, что зуб, предварительно выпавший, уверенно относился мною к растениям, схожий с ними молчанием и привычкой терпеливо сносить научные эксперименты.

Столь же безропотно вели себя Волкомерия и Белая Опунция, получавшие прививки в виде укулов по нескольку раз в сутки. Толстая груша кактуса вела себя менее сдержанно, норовя оставить в ладони пучок ядовитых стрел. Тем более толстая и длинная — «дистанционная» — игла доставалась этой морковке.

Я вел дневник, фиксируя результаты экспериментов. «Семечка не взошла», — гласила первая запись. «Семечка не взошла», — сразу ней вторая. «Семечка не взошла», — констатирует третья. И так до семи раз. Восьмая запись — горькая констатация факта: «Семечка сгнила».